

Ювелир

В тот день меня отпустили с работы пораньше: к подшефным детдомовцам – разузнать, как они живут, в чём нуждаются?

Сталистое небо к вечеру потеплело, окоём подрумянился, и повеяло по-юношески свежим ветром, словно в осени случилась весна.

Здание интерната для мальчишек походило на обыкновенную четырёхэтажную школу, окружённую вереницей полувековых тополей. В прихожке в одних трусёшках на коленках елозил тряпкой по линолеуму стриженный под «нулёвку» пацанчик.

– Здравствуй! Где заведующая? – спросил я.

– Скоро придут, – неопределённо буркнул он. – Подождите внизу.

Я спустился в полуподвал и пристроился на низкой скамейке под окном. Вдруг дверь стала тихо открываться, и в помещение вкатилось какое-то странное маленькое существо: уродец-карлик, у которого, кроме туловища, ничего не было. Пустые рукава серого, пыльного пиджачка волочились по бетонному полу. Вислоухая шапчонка едва держалась на безголовом туловище. И вместо ног, казалось, были только ступни, которыми карлик проворно перебирал, двигаясь в конец полуподвала. Ничего подобного доселе я не видел! Озnob оторопи стянул кожу на висках

Вслед за первым уродцем появился второй, и я неожиданно для себя успокоился: второго такого чуда, как первое, быть не может. Что-то тут не то... Я кашлянул – уродцы повернулись, и спереди стало видно, что они вовсе никакие не карлики, а обычные мальчики, видать, первоклашки. Научиться так бесподобно карличатъ! Изрядно потренировались огольцы! Не так-то просто, скрючившись, в накинутом пиджачке, идти в присядку, как бы катиться. Эффект потрясающий! Жаль, что только со спиной. И надо же додуматься до такого! Да, к интересному народцу попал я.

Пацанята, так чудно изобразившие карликов, выпрямляясь, по-стариковски поохали, покряхтели, хватаясь за бока, и подсели ко мне. Один из них, с юркими глазёнками, похожий на цыганёнка, потрогал малахитовый значок на лацкане моего пиджака:

— А подарите!

Я отстегнул значок, и мальчишка ловко, как монету, подбросил его, поймал прямо в оттопыренный карман пиджачка и выдал чистейшей дроби зубарики.

— А у вас ещё есть? — обиженно скривился второй пацанёнок.

— С собой нет, а дома посмотрю, — пообещал я.

— И мне ещё поищите — я коплю! — потребовал цыганёнок.

— Не забудьте! — напомнил его дружок и отодвинулся от меня, уступая место мешковатому толстяку лет двенадцати, который рядом с мелюзгой казался огромным.

Здоровяк неуклюже повернулся ко мне:

— Вы на этих галух значков не напасётесь. Только на значки и будете работать. Они их всё равно променяют на какую-нибудь чепуху, а то и на басики, окурки... А ну, кыш, пердышия! — он отогнал ещё трёх чумазых первышат, которые с просительным видом остановились передо мной. — Вон их сколько! Всё идут и идут. А ну, кыш! Кому сказано? Дайте с человеком поговорить...

— Раз обещал — надо принести. Как ты думаешь? — спросил я его.

Толстяк согласно мотнул круглой головой:

— Слово — олово! Ну тогда и мне принесите. Хотя я и не курю. — Он самодовольно потянулся и, сцепив руки замком, несколько раз ударил ими об колено: — Сколько?

В детстве я и сам не раз дурачил простачков этим нехитрым фокусом: от удара об колено сцепленных рук получается такой звук, точно в ладонях зажата горсть монет.

— Пусто! — я задорно шлёпнул по рукам фокусника.

Тот смущённо потупился и лодочкой раскрыл ладони — с мелочью!

— Ваши! — сказал он так, будто я разгадал его фокус, и протянул мне деньги.

Я удивлённо похлопал себя и стал рыться в карманах.

— Не ищите! Говорю, ваши, — сердито нахмурился толстяк. — Ровно четырнадцать рублей. Вас облапошить — дважды два. У нас братва — оторви да брось! Всякие есть. С нами востро держаться надо! А вы какой-то невнимательный. Да ещё добренъкий чересчур. А мне мелочь не нужна. Я деньгами не интересуюсь. Изумруд, гранат, рубин, алесандрит, сапфир... Камушки — это другое дело! Деньги — некрасивые. А вот эта деньга — одно загляденье! — он подкинул на ладони какую-то тёмно-фиолетовую ягодку, похожую на черничинку. С любовью подул на неё и, изящно взяв двумя пальцами, сосредоточенно стал поворачивать: — Кровяной аметист. Темно здесь — никак свет не поймаю: затаился камушек.

Шум в полуподвале всё усиливался: ребятня прибывала, а воспитатели задерживались. Все чем-то были заняты: старшеклассники затягивали чехарду; малышня по углам каричала; один класс, теснимый с лавки другим, звал на помощь Ювелира.

Тот уже лизал металлические пластинки батарейки от карманного фонарика.

— Кислит! — он облизнулся и примотал голубой изолентой лампочку к батарейке.

Запахнув от окна полой коротенького пиджачка самодельный фонарик, на его свет выкатил на ладони аметистовую ягодку, внутри которой, словно алое сердечко, вспыхнул огонёк.

— Молодец! — похвалил я «бриллиантщика» и подозрительно посмотрел на него: откуда у пацана аметист?

Тот придуровато ослабился; раскатил ногтями по белым крепким зубам чистейшую гороховую дробь и, несмотря на то, что был толст и гружен, необычайно легко отбил чечётку с виртуозными прихлопами. Закончив номер, откинулся голову на плечо и веером распустил пальцы:

— А камушка-то тю-тю! Вот так-то! Не пойман — не вор.

И мой подшефный вперевалку подошёл к лавке, с которой уже начали слетать его однокашники, теснимые другим классом.

Ливер

Детские жизни длиною в несколько взрослых... И всё это — мои ребята. Шефство привело-таки меня к ним. Как же удержать возле света шаткие мальчишеские души. Ведь маленькое сиротское сердце, одичавшее, знобкое, сжимается от боли в казённом прозябании от едва уловимого домашнего запаха, принесённого неосторожным воспитателем.

Явилась как-то рассеянная Тамара Дмитриевна в кухонном фартуке под плащом. Спешила, опаздывала, скинула плащ прямо в подвале, где дневные воспитатели построили классы для передачи вечерним. На заведующую Тину, Тигру, держали равнение мальчишки, а тут все как один заворожённо вперились в фартук — обычновенный, сатиновый, в незабудочках, с кармашком, с прилипшей картонной шкваркой на залоснении, с материнским запахом... Пол-интерната заварилось ночью в тоскующую перелётную птичью станицу...

Я становился домашним воспитателем. Не было желанней места для пацаны, чем мой холостяцкий склеп, выделенный мне в цоколе интерната. Солдатская койка, медвежий колченогий табурет; одежда на стене под простынкой — будто спал кто на стене; электроплитка на тумбочке, толстой от векового слоя суртика. Казённый угол, гораздо сиротливее светлых интернатских спален, не говоря уже о рабочих комнатах в полововке, цветах и коврах.

«Приют убогого чухонца» — так по-пушкински назвал детдомовский народ моё заведение. Ни с чем не сравнима была воспитательная его сила. Настоящий, живой дом с отцовскими и материнскими запахами. В нём можно было послушать весеннее скворчное пение чёрной, чугунной сковородки с картошкой; добродушное дедовское ворчание лапши в кастрюльке; жалобное посвистывание голодно изогнутого чайного носика с обсосанным желторотым клювом; увидеть приветственные приподнимания чайного «беретика». Как греет сердце всё с домашнего огня! И одуряющий дух обдаёт из-под картошки, когда подцепишь её ножом, чтобы до угольев не покернела, чтобы до червонного золотого хруста каждый кубик обжарился. В остром томатном соусе солодкая лапничка с творожисто свернувшимся в кипятке яйцом — очень уж характером схожая с шеф-поваром, Держей, как меня кличут ребятишки. Такой же я рассолодевший, когда понабываются в два яруса чадушки мои, поварята-дегустаторы, и хрустят, и швыркают-хлюпают, и гоняют, го-

няют крутой на брусничном листке чаёк: благо, за речкой Невеличкой в камнях хоронятся кое-где брусничные куртишки.

Дома у меня и штопка ребячья спорится, и письма душевые складываются, и рассказы занимательные.

А новенький, Ливер, так и прописался у «папы Кости». Чуть температура — он в державинской постели валяется. Настоящий детдомовец до таких телячьих нежностей не докатится, как бы ни манил похожий на отцовский, мужской, крепкий дух. А Ливер-два — слабак, совсем домашний. Хотя дом его родной кончился жутко. И как только не шизанулся пацан? Лишь дёргается иногда, как от тока, заикается малость да вместо «ложка» «вошка» говорит. А в инглише сечёт, как дипломат. Только учить начали, а он уже вовсю шпарит: ван, ту, фри, фо... маза, фаза, систа, браза...

Братьев Леверкиных в детдом привела тётка, не старая ещё женщина с сердобольным усталым лицом. Думала, исполнит завет сестрин, поставит племяшней на ноги, но не потянула, не сдюжила. Своих двое, сестриных трое... Муж от такой оравы начал от дома отбиваться: домосед, семьянин завидный, стал на футболах пропадать, за домино время гробить. Так и до рюмки недолго. Зять-то, змей, с рюмкой в один узел завязался. В честь Дня породнённых городов заставил пить с собой сыновей. Какая мать отдаст детей на погубление. Сроду не пившая, сама выпила с иродом сестрица. Спалил чёрный огонь светлую душу. Возликовал над жестью муж: допилась, дескать! То всё он — пьянчужка и забулдыга. Теперь сама нажралась как свинья. Пей, упейся! И поливал в белой горячке мёртвую уже водкой из бутылки, пока старший, Петька, не сбил его с ног...

Старший сбежал из интерната на другой же день, после ночной тёмной: положенные для новеньких синяки — прописка и профилактика, чтобы бегать неповадно было.

Небегунов, как Сердечник или Козуля, — раз, два, и обчёлся. Всякий уважающий себя детдомовец хоть раз в год, да испытает прелести бродяжьей жизни. Ну а после — воспитательные меры. «Воспитывают» на полном серьёзе: из-за тебя, чушок, в канцелярии у Тигры весь вечеростояли, дорогу мели, очкуры драили, телек не смотрели, в кинуухе не ходили... Стервенится, рьянее всех наскакивает на бродяжку тот, кого самого вчера лишь привезли с бегов.

Взрослым же кажется, что самосуды — им в помощь, и не очень-то вмешиваются в ребячью дела.

Мне довелось увидеть Петьку до побоев: костистый, острый, напруженный. Будто испитое, лицо в багровых пятнах. Либо от нервов, либо в пьяной застольице сиживал с папашей за компашку. Глаза злые, затравленные. Затаённая, кривенькая ухмылочка: всё равно, мол, убегу. В общем, плюю против ветра — такой вызывающий напряг.

От такой видухи воспитательницы брезгливо морчились. Заметив это, семиклассники сразу же начали тянуть на него, успели до тёмной дать под дых и ткнуть до крови в зубы. А ночью Петьке, пощады не запросившему, досталось без всякой меры. Хотя с виду он нешибко-то был разукрашен: знали побойщики заветные приёмчики, не оставляющие следов на теле. Опыта хватало. К рукоприкладству привыкшие, долго заташься не терпели. И никто никогда из страдальцев не пикнет. Ударился-де — вот и всё объяснение. Разыскивать побойщиков, увершивать — тщета наивная, вызывающая злорадные ухмылки. Этот орех не раскалывается на скорлупки.

Так уж повелось: вроде каждый сам по себе, но стоит кому-нибудь попасть в придуманную зловещую зону гонений, как в гончую свору сбиваются все. И нет вопросов: за что, про что?..

Крепка стадная спайка. В дурном деле она ещё крепче. Даже местные шишкари позволяли себя наказывать; даже они не смели преждевременно выйти из законной зоны, при кличе которой сжимается в крутой кулак разношёрстная детдомовская братия.

Жизнь детей – зеркало взрослой жизни. Злополучный орех распадётся сам, если распахать поле псовой охоты. А пока оживляют пустыню людей торжествующие кличи: «Ату его, ату!» И причинение боли заменяет боль душевную, без которой не проклонутся к свету росточки доброты – истинной спайки для мира среди людей, для их выживания.

Ливера-старшего раза два возвращали в детдом. Крепко был колочен. Шишкари силком натравливали на него Ливерят, но те, тихони тихонями, на брата руку не подняли, но и не потянулись к нему: убежал, бросил – порушилось кровное. Петька добегался до пэтэушного возраста, и тётка устроила его на казённую кормёжку и одёжку.

Младший, Ливер-три, прижился в добром, поющем и танцующем классе «бабы Вали». В синяках я его видел только по первости да после расправы шишкarya Чёрного. Тогда-то и сорвался. Подловил молодчика одного в туалете и тюкнул ребром ладони по крепкой, как у мужика, шее. Озырнулся тот, ослабился с пониманием: для авторитету дерётся Держа.

Гаденько стало мне: сам до драчuna докатился. Тычками малолетнюю дедовщину не изведёшь, коли взрослый повседневный уклад – та же дедовщина. Как-то мне, слесаришке, бугор велел за водкой сгонять. Послал я его на кудыкину гору. А у самого бугра от счастья дыхание спёрло, когда начальник цеха поручил ему юбилейную здравицу в честь директора произнести. Как дико звучит: подобострастный властитель! И как обычен мир о двух лицах...

Чем меньше праздности, тем больше дела и ума. Тем чётче призрак, блуждающий в поисках своего господина. И я, Константин Державин, хоть чуточку сужу бродячий круг. Не отупляющие сонные ползания с половой тряпкой и бесконечные подметания – абы чем-то занять пацанов, – а сметливое дело: столярное, авиамодельное...

Неужто умные ребячые руки, собирающие из швейной иголки и тетрадного листка патефон, измельчают до мошенства карманников и дощущников, проволочкой отмыкающих любой запор?..

То и дело залетает детдомовское воробышко в колонии. ИТК – исправительно-трудовые. Никакие они не исправительные, а побудительные к вечному зечеству. Являются писаные красавцы оттуда: мороженые глаза, кривой прикус, презрительное цвирканье слюной сквозь фиксы – особый шик! Наколки сплошняком: Сталин – «Не забуду папочку родного!»; солнышко за решёткой – «Без милых нар жизня – кошмар»; классические грудастые дамочки или русалки; совокупление мух «Sel a vi» и прочая дребедень-пошлистина. Бывалые блатные жорики с головы до пяток: «Ну ктё, чушки, по фене ботает? Бан далеко от вокзала? Ну ктё, быстро? Ну ктё, в натюре?!..»

Что море для моряка, что нары для эзака. Тянет... И нет жизни...

Как скоро обвык, пообйтёрся Федя Ливеркин, Ливер-два. Щекастенький хомячок; улыбчивый, с ямочками. Но пообвисли чуть щёчки, складки старческие в скобки губы заключили. Детские ямочки и го-

рестные морщинки – видно, вместе с матерью-горемыкой старел мальчонка, кровинка её.

Дня два не просыхал от слёз Федюшка, за то к обрядовым фонарям ещё засветили бедняжке. До боли нестерпимой, до слёз скжалось сердце моё, когда увидел я Федюшку во второй день его детдомовской жизни. Побитый, опухший от слёз головастик с цыплячьей синюшной шеей, он походил на дряхленького горбунка-уродца.

Едва я совладал с собой – не стал вытряхивать: кто бил новенького? Каждый приложился, все замараны и повязаны. Не хочешь – заставят. Этую жестокость в законе с налёту не сметёшь.

– Кто его? – как бы между прочим, спросил всё ж таки я Сердечника.

– Мы... не мы... – испуганно отшатнулся тот от меня. – Он сам...

Сами спросите...

– А что он, чушок, всё киснет и киснет, – скривился староста моего пятого Красилов, Крашил.

– Ты его, что ли? – не выдержал я такой наглости и тряхнул Крашила за грудки.

– Ну чо-о ты? – отдёрнулся храбрец. – Он са-ам. Все видели! Я, что ли, тебя, Ливер? – прибланённо скривившись, бросил на новичка косой взгляд Крашил. – Ну ты, в натуре, я, что ли?!..

– Э-эх, парни!.. – отвёл я от плачущего Феди вспетувшегося Крашила.

«Кого обижаете?..» – хотел упрекнуть пацанов, да смекнул, что защита его обернётся худом для мальчонки: нешибко водится пацанва с подзащитными.

– Ну ладно, ладно!.. – грубо похлопал я Федюшку по вздрагивающей спине и накрыл его бедную головёнку ладонью.

– Мы с тобой друзья до гроба – за одно или за оба? – отвёл Крашил Федю в сторонку и что-то душевно зашептал ему на ухо.

И у меня на глазах ожил сиротка. Неловко приобнял нечаянного корефана и вихлеватой походочкой отправился с ним в угол, заговорщицки оглядываясь. «Пошли в натуре», «шухнёмся», «на сохранку», «а меня бесит»... – детдомовский, свой в доску.

От такой разительной перемены резануло в моей душе. Не от того, что переметнулся Федюшка. От его измочаленной воли. Надсадился от жизни мальчонка. С надсадой такой на любую кликуху побежит. С чушками жить – по-чушни выть. Так ведь и не жил вовсе. Каких-то два дня...

Очаг мой ему и всем этим воробьям нужен.

И хоть стыдно было мне, здоровому мужику, звать детву в убогое жилище, но открыл я для их необласканных душ свой дом.

* * *

Из-за сугроба, шубой окутавшего голые птички косточки куста, я видел, как вели Федю Леверкина. Хотя тротуар был выскошен до асфальта и после метелицы стояло зтишье, мальчишка шёл с трудом, будто проваливаясь в намёты и спотыкаясь о снежные заструги; согнувшись и подавшись вперёд, точно сопротивлялся встречному ветру. Шапка глухо завязана на подбородке, рукав фуфайчонки приткнут к рукаву. И я как бы увидел, ощущил два красненьких беспризорных кулачка, уткнувшихся друг в дружку в этой холодной трубе из коротких рукавов. Маленький арестант, конвоируемый по этапу из родного дома, где жила теперь тётка с семьёй. По ней-то я и догадался, что

невидимый, спрятавшийся в одежонку, свой горький человек – Федя Леверкин.

Мучителен был для него родимый дом; сладостно жутка ночь, когда услышал он мягкие шаги умершей мамы своей, далёкую и близкую увидел её, склонившуюся над ним... Она ждала его, заставила во сне сестру свою сходить за Феденькой. И опять осталась ждать, а тётка с дядькой повели его...

Ему вспомнился вдруг плакат в кабинете биологии, на котором был нарисован человек без кожи. И у него от позора и стужи нестерпимо саднило всё тело, и уже стало дико чудиться, что на стенах дома материнского осталась прилипшая к ним его кожа... Без кожи он... Действительно – Ливер... Позорно и страшно! Хоть бы никто не увидел его, такого...

Мало кто победно возвращался после милосердных побывок. Приходили, конечно, и заряженные человеческим душевным теплом, но неуместны были восторги счастливцев, сияющих в ожидании очередных обещанных выходных. Крепко страдали, глупенькие, не сумевшие скрыть свою радость, – колотили их завистливые и скучающие пацаны кулаки.

Чаще всего тяжело и надрывно возвращались от доброхотов пацаны. Больше всего боялись они, что кто-нибудь из детдома увидит их позорное возвращение, и старались незамеченными прошмыгнуть к своим.

Поэтому и не показался я печальной процессии, чтобы не добавить боли истерзанной душе. Я не видел Фединого лица, а когда тот посмог трел почему-то в мою сторону, вздрогнул. Куда делся улыбчивый, с игристыми ямочками мальчик?! Те же жёсткие складочки в уголках губ, которые портили милую детскость Федюшки, чётко обозначились ужасными вехами короткой детской судьбы. Ни муки на лице, ни печали. Бесконечный взгляд в никуда...

Внезапно моё сердце ёкнуло и замерло в догадке. Деканат. На столе у деканши толстый том. И. Е. Репин, «Далёкое близкое». Раскрываю книгу – и не могу оторвать взгляд от рисунка странного человека. Он в шапочке и халате. Как врач. Только серый. Как больной. Каракозов перед казнью. Человек ещё живой, но уже мёртвый...

Никогда доселе не вспоминался мне этот репинский рисунок. Художество, сердцем созданное, руки незримые имеет. И чутких душ руки те касаются. И от физического прикосновения их впечатлительные люди нередко падают в обморок.

Простенький набросочек. Но, видно, мощное напряжение смерти скрутило толпу на площади с виселицей, распахнувшей петлю для покушавшегося на царя. И молодой художник передал эту энергию в сегодняшний день. С 1866 года даже в жалком типографском оттиске с рисунка кроется дух того момента, явившего толпе лик смерти.

В сумеречной тени таинственной планеты Мозг и пропал вроде тот лик. Прихотлива теневая сторона, скуча на пропажи. Как жизненно важно порой вспомнить что-то. Но блукает человек в немой темени – ни эха, ни отсвета...

Зато не слышный ему звук, не видный свет могут проникнуть в зону безмолвия. И вздрогнет тогда беспричинно человек и может даже вспомнить нечаянное прошлое.

Неблагодарная планета – Мозг. Человек хранит её, а она скупо платит за жильё. На себя работает, ждёт его смерти, дабы с богатством накопленным влететь свободно во Вселенную.

Имеющий ухо да услышит. На то оно и дано, чтобы слышать, а не пребывать в безмолвии. Кто виноват, что глух человек? Надо вслушать-

ся в себя – и немое заговорит. Чуткому – чуткое эхо памяти. И тогда даже самые глубокие свои лабиринты высветят для человека его планета. И мудрость её земная будет выше, и радостнее вселение во Вселенную, где селятся все. Ведь для бессмертия человеческого и живёт в нём его планета – Мозг...

«Достойное утешение», – похвалил я себя за открытую истину. К концу земной жизни сколько энергетического разума скапливается в человеке! Неужели Природа так расточительна, что такое чудо, как зрелый мозг, бросает в перегной?.. Наверное, человек в его земном обличье – это лишь среда созревания разумной энергии. Однако смерть ужасает. Если бы не страшились её, то мозг бы не вызревал. Обычно люди, прожившие на Земле положенное, расстаются с ней спокойно. Преждевременная смерть – противоестественна. Особенно ранняя...

И вот лик её прступил на лице ребёнка. Лик Каракозова... Спасать надо Федюшку, стирать этот серый налёт! Есть лечебница, где спаслись от разбойницы Ванька Мокрый, Сморча. Это мой, Державина, угол, мой нынешний дом.

Но тут рык Тигрин раздался, и свершилась вина моя великая. Будто и не было моей философии человечной. Велела заведующая класса вести в баню. Думал, свожу и Федюшкой займусь. Без призору смертшку оставил. Она живо воспользовалась такой оплошкой, скрутила ребячью душу и свила из неё петлю.

В Жилке то случилось, возле железнодорожных бараков, что рядом с детдомом ютились. Заголосила там бездомная дворняжка. Нашей сторожихи Вулкан и всполошился, чуть ноздри не порвал, вынюхивая место, где смерть начала проказничать. Учуял её тлетворный дух – и намётом, намётом по сугробам. Успел драчище! Капроновое серебристое колечко уже ласкало сиротские плечишки. Вышиб широкой грудью мальчишку из петли – тот слётком в снегу закопошился...

Так и поднял я со снега воробышку и отнёс в своё гнездо.

Ванька Мокрый

Северный жгучий мордотык. По небу ползущие дымы теплоцентрали. Подлые коросты льда от очередной не то весны, не то осени. Свиные пучеглазые машины, прижимающие пешеходов к сухарям снега на чёрстких сопочкиах.

Столпотворение. Толповерть. Один автобус битком. Другой. Третий пустой почти – но мимо... Сбитый светофор бьётся, бьётся в падучей. Жёлтый, жёлтый, жёлтый... Движущаяся непрерывно стена машин. Синеватая, едуче-першащая гарь. Сквозь неё жёлтый, жёлтый... Зелёный! Брешь в автостене. Бегом! А в глазах уже красно. Красный, красный...

После работы опять эта чадная хмаря. Ломаются автобусы, трамваи, перила на километровой лестнице в сопку, лифт на последний этаж... Усталость металла...

Усталость Рудянска...

И всё же в усталой душе его нашлось местечко для милосердия. На выходные и праздники стали брать рудянцы детдомовцев к себе. Разные то были доброхоты. Жалельщицы сладкослёзные, что не пропускают индийских картин. Надрывницы – и смех и слёзы вперемешку – вечно

с ними что-то происходит, да и сами на выходки горазды. Страданием страдающие, скорбь мировую на узкоплечую детскую душу обрушающие. Рабочие детные семьи, считающие акт милосердия делом государственным. Какой-нибудь чушок Мрызя – всегда равноправый член такого коллектива.

Милосердное гостевание, благодатное самое, тогда бывает, когда одна жаль-доброта ищет другую. И делятся тогда люди – большие и малые – животворным теплом сердечным. И убавляется сиротство на земле. Но такое святочное случается редко. Усыновляют обычно беспамятных несмышлёнышней, чтобы и отцу-матери верилось в родную кровь.

Жиরющие семейки брали из детдома на показуху: «Я такой итальянский гарнитур достала в “Империи мебели” – обалдеть! И сиротку мы с Аркадием взяли на воскресенье, симпатичный такой, глазки вишенками. Лёлька тоже на дачу мальчика возила. Да ты знаешь её: у неё собака Чарли и муж Олег. Сейчас многие берут».

Замотанные заботами – конца и края не видать им, окаянным! – многие рудянцы нет-нет и спохватывались: не до донышка ли в жизненной сутолоке расплескалась доброта из их душ? И для проверки на доброту и терпение принимали чужих ребятишек. Мало кто из таких приходил второй раз. А как хотелось по-человечески согреть человеческую душу. И доброта вроде есть, но придавлена она, живая ещё, тёплая. Камнем студёным – усталостью...

Бородач, похоже, был «освобождённый» шеф. Он день-деньской пропадал в интернате. То шахматную секцию организует, то театральную студию, то подвал сотрясает, прыгая в трусах и боксёрских перчатках, показывая ехидной чухонской публике приёмчики. В общем, от скуки на все руки. «Образец шефской работы» – так гордилась им заведующая Тина. И скоро свела парня с кисельной родственницей своей, худосочной девицей, и устроила им свадьбу.

Знаменательное событие проходило в духе милосердия, отвечающего духу времени.

Вершиной праздничной церемонии стало посещение бракосочетавшейся уже парой детского дома, где образцом шефства являлся жених.

К важному событию в культурной жизни Рудянска прилепилась всякая всячина: фонды, центры, партии, волонтёры, милосердные общества и даже сама прехорошенькая «Мисс Рудянск». Как же всем охота попасть в газеты, а то и покрасоваться в телеке. Чуть ли не для программы «Время» наскреблось этого грандиозного шоу.

А уж когда чушата, чисто ангелочки по такому случаю, с цветами окружили молодых, некоторых слеза прошибла. Вот где надо свадьбы проводить! А то под воду лезут, дабы какого-то Гиннесса ублажить.

Потрясённая исторической масштабностью своей свадьбы, молодая чета вошла в милосердный раж и усыновила самого занюханного соплюшонка Мрызю, у которого мамка хватила лишку «синявки» и загнулась.

К выбору такой благородной, заслуженной пары большинство присутствующих отнеслось с неодобрением: уж больно нетелегеничен объект милосердия. Неразборчивой чете хотели подсунуть более привлекательного сиротку из тех, которые были нарасхват у милосердов, берущих воспитанников на дом. Однако альтернативно выступил критик и музыковед Волокшин. Разоблачитель рок-музыки, он со страшной силой обрушился на опиум молодёжи, затем высказался о нравственности

венной зыбкости нынешнего представления. К жертвам масс-культуры отнёс молодожёнов, но оправдал их выбор в усыновлении, назвав его единственным реалистическим эпизодом в сегодняшнем спектакле, автором которого не является жизнь.

Вдохновительница торжества, Тина с потаённой усмешкой наблюдала за действом, злорадно предвидя скоропостижный конец случайного союза.

Однако ж пути Господни неисповедимы. Зажила, и ещё как зажила счастливая троица, а потом и четверица, и пятерица – свои дети пошли у пары, с издёвкой сведённой Тиной.

Ухватив добрый берёмок забот семейных, второй, шефский, Бородач уже не потянулся.

Но широкое всенародное освещение свадьбы всколыхнуло совесть граждан Рудянска, и началось в детдом паломничество жаждущих приступиться к милосердию.

Три-четыре бездомовых судьбы были обгнездованы. Зато сколько детских душ настрадалось!..

– Тёть, а тёть, меня возьмите, а… – сторожил у ворот своё счастье хроменький Сморча.

Все приходящие в детдом милосерды несомненно были добры, но как-то так получалось, что Витьяка Смошный ни разу не побывал ни у кого дома, в семье. «Опять с опозданием», – тяжко вздыхал он после очередного благотворительного разбора, оправдывая неудачу тем, что он якобы не поспел к нему. Не замешкайся, его бы уж точно взяли погостить.

Вот и таился он в тени ворот, выглядывая аж на дороге добрых тёть. Их он вычислял по печальным глазам, подковыливал, просился и в напряжённом ожидании сжимался, будто пропадал в пальто и шапке, которые были для него чрезмерно велики.

Бледное личико хромушки, просящие глазёнки – какое женское сердце не защемит от жалости к сиротке! Но от горемычного разило табачищем, а на худенькой ручонке его синела татуировка – заборный матерок.

«Хорош гусь!» – пугливо и брезгливо шарахались добрые тёти от шпанёнка, спешили укрыться от него в директорской либо вовсе чесали мимо детдома, вроде и не собирались сюда.

Таких невостребованных, как Сморча, было много.

– Не берут нас напрокат, Костентин Степаныч, – пожаловался Казлаев. – Не ходовой мы товар.

– Ты, Вася, сам уж дядька, – шутливо успокоил я его.

– Тебе, Козуля, самому братья пора, – поддержал меня Сердечник.

– Меня возьми, Козуля! – подбежал к Васе Федя Леверкин и встал с ним рядом: чем не папаша и сынок?..

– Ты, Ливер, чушок, тебя уже… – осёкся Ванька Мокрый, не договорив «брали»: уж больно жутко закончилось то бывание Феди в доме родном.

– Кто бы говорил, только не ты, Мокрый! – скривился Муха. – Бритвин маменькин сыночек.

– Я сам расхотел, гадом буду! – Ваня ясно, с печалью посмотрел на меня.

– Сам, Ваня, конечно, сам, – потрапал я пацаний вихор.

На моих пятиклашеч спроса почти не было. Возраст у мальчишек ломкий, характеры не сахарные. К ним особый подход нужен. А где их набраться, этих подходов?

По правде говоря, я оберегал своих от «милосердия». И без того хватало мокрых подушек, залитых слёзными снами отказников или поизнавших коротенькое счастьице чужого дома.

Когда началась «милосердная» заваруха, я ощутил ущербность её. Не все по-человечески готовы к милосердию, не все имеют на это право. Да и детдом не готов к нему. Казённое заведение. Не выдерживает человеческая малость возврата из *домашнего* тепла в приютский холод. Стали надрываться детские души. Участились побеги, много пацаны залетело в колонию. Коверкались судьбы.

Захваченная милосердной быстриной, решилась усыновить Ванюшку Бызова Тамара Дмитриевна. Худая, заострённая какая-то – вот и наградили её меткие «филолухи» прозвищем Бритва.

Дирекция охотно поддержала благородный порыв воспитательницы: весь город задействован, а нам сам бог велел преподать наглядный пример.

Через неделю Тамара Дмитриевна повела Ванюшку обратно. Мокрый он и есть Мокрый. Мочился по ночам. В интернате-то «морячка» будила ночная няня тётя Катя. А Тамаре Дмитриевне терпения не хватило... Ни разу котёнка не держала, ни одного домашнего цветка в горшочке не полила – а тут пацан в доме... «Сплошная морока! – сокрушилась она. – Зря вляпалась в усыновительство. Уж как меня Державин отговаривал, срок – неделя – предсказал... Набила себе шишку, нарыв целый, опухоль. Осудят все. Не рак – не смертельно. Враз вскрыть болячку – зато вольно одной. Пацану, правда, тяжеловато будет. Хоть и пилила его, и не прижился шибко, да ведь в отказниках ему придётся ходить. Следовало бы оговорить, что с испытательным сроком берётся, тогда и виноватиться бы не пришлось. Всё как-то опрометью, скомкано получилось. Но надо на этот срок валить – не выдержал-де его пацан».

Самыми последними чухонскими словами гвоздил себя Ванька Мокрый: как безмозглый мулёк попался на Бритвин крючок. Пилежом задолбала его «мамочка»: не тем полотенцем лицо вытер; мусорное ведро плотнее закрой, а то мыши расплодятся; не кроши, а то тараканы побегут; телевизор подолгу не смотри – нагорает и облучение от него... А он ещё «плавал» по ночам... Заколебала – ни пукнуть, ни вздохнуть. Да ещё без курёжки – хоть волком вой! И чего ждал, чушок?! Дом захотел, домосед. Надо было давно рвать когти. Теперь пацаны с дерзом съедят. А то ещё навтыкают как маменькиному сынку. Надо делать ноги, пока не поздно, потом позорухи не пережить. Чует Бритва, что он может слинуть – как вора тащит, вцепилась клешней, аж рука отсыхает. А ходули у неё – будь здоров! Собачонкой приходится бежать за ней. Ну погоди, Бритвочка, только ослабь граблю. Ну ослабь же, отцепись! Видишь, хоронят кого-то. Гроб длинный. Как раз под твой рост. Рви с мясом душу, труба! Бабахни гранатой-колотушкой, барабан! Взорвись, оркестр! Ваньке Мокрому смываться пора!

Не перебегай дорогу покойнику – сам покойником станешь. Это жуткое суеверие Бызов слушал от матери. И всякий раз в почтительном страхе замирал при виде похорон. Теперь же деваться ему было некуда. От отчаяния чухонская бесшабашность взыграла в нём, и он очертя голову перерезал чей-то последний путь. Бритва-то не осмелится на такое.

Но она осмелилась. Ей было не до дурацких предрассудков. Ударится в бега «сыночек» – вдвойне влетит ей: и за отказ, и за побег.

Он краем глаза засёк, как Бритва бросилась за ним. И ужас от содеянного, и от того, что воспитательница перебежала похороны, превратили её в огромную тень, нависшую над ним. Ему послышалось, что она страшно закричала: «Держи его, держи!» – как орали базарные бабки, когда он взял паршивую помидорку.

Но она не кричала. Когда-то недурно играла в баскет и могла бы в два счёта схватить козявку за шкирку. Однако внезапная счастливая мысль остановила её: вот дурёха! А почему отказ? Она и не думала отказываться. Воспитанник сам во всём виноват. Всё ради него: «Ванюша, Ванюша...» А он, неблагодарный... Сотку из кармана вытащил и сбежал. Как такого ни корми, он всё не туда смотрит... Ну пожурят за побег. Это же не ЧП...

Она облегчённо вздохнула, повернулась и пошла домой под пьянемский похоронный марш.

Визг тормозов пронзил благодушные, нестройные звуки оркестра и скомкал их. Она обернулась: тёмный островок на перекрёстке из десятка прохожих мгновенно вырос. Кто-то попал под машину. «А вдруг Бызов!» – подумалось ей. Но она тотчас же отбросила беспокойную догадку, сулившую ей немало хлопот. У детдомовских сорвиголов отменная реакция – они под колёсами не гибнут.

Очнувшись, он ощутил на себе неимоверную тяжесть тени. Но то была почему-то не тень Бритвы. Рой голосов жужжал над ним. Мельтешение встревоженных лиц казалось ему колыханием свечечных бледных лепестков. Нельзя перебегать дорогу покойнику! Мамка же говорила... Значит, он умер... Руке неудобно, она чем-то прижата. Она жива ещё? Он глянул в её сторону и увидел замахнувшуюся на него «ёлку» огромного колеса. Над ним не тень Бритвы – тень «КамАЗ». Ванька Мокрый – жив!

Он выдернул руку из-под тяжёлой резиновой «ели», поднялся на четвереньки и прошмыгнулся между колёс под брюхом машины на живой белый свет.

Куда теперь? К мамке? Четыре года она пластом лежит парализованная. Уже и письма не сама пишет, диктует. Она-то «сыночка» выводила, а чужие рубят «сын»... Куда он к ней? Попроведать? Перевезти бы её в Рудянск, в инвалидский дом, к детдому поближе... С горя в бега дёрнуть? Бритва за отказника его выдаст. Она уже далеко ушла. Дуй, Мокрый, надо опередить её!

Без шапки, пальтишко в земле нараспашку, штаны сползли, запалённый, в куржаке, Ванька Мокрый коршуном налетел на Сморчу, отиравшегося у детдомовских ворот:

– Ну ты, чушок, Бритва налязгала?

– Нет, а чо, сбежала от тебя? – осмелился согреться рискованной шуткой продрогший первоклассник, и тут же шапка его слетела от крепкой затрецины.

– Западло! Я сам утёк от неё. В тюрьге и то свободы больше. А ты всё ждешь, когда тебя добрая тётька пригласит? Не-е, в детдоме клёвее! Да ты у добренькой без курёжки загнёшься. Знаешь, как там курить хочется! Дай зобнуть скорей, а то во рту как в конюшне.

– А меня бесит! – капризно скривился Сморча, точно сам вытерпел все муки, пережитые Мокрым.

Когда капризничают малые детки, они гундосят обычно: «Не хочу! Не буду!» Свои выступальщики водятся и среди детдомов. Даже при известии о походе в цирк они презрительно морщатся и выдают своё на все случаи жизни: «А меня бесит!»

Будто изваженный гостеванием, ради которого он отполировал ворота, выдал капризуху и Сморча. «А я и не хотел» – помимо прочих оттенков слышалось в ней. Тем самым он как бы достойно завершал неудачное своё сторожевание.

Пацаны солидно, по-взрослому запыхали чинариками, приобнялись, как кореша, и пошли к Держе: он должен быть дома – по субботам вечерние не работают.

Теперь у Ваньки Мокрого был железный свидетель, что никакой он не отказник, а сам свалил от Бритвы.

Хотя Ванька и отошёл вроде бы от пережитого – и от побега, и от аварии, – вёл он себя немножко как-то не так. Развязно завалился в мою каморку и всё приобнимал за шею Сморчу, будто терял самое дорогое и вот отыскал. На самом деле так оно и было. Он едва не потерял жизнь. И неосознанно нервничал ещё и словно бы хватался за вновь обретённое счастье.

Ноги мои торчали из-под койки, сам же я пыхтел и скрёбся под ней. В комнатухе то и дело отсыревали углы, и мне приходилось замазывать их.

– Это мы! – восторженно провозгласил Ванька Мокрый, точно его появление со Сморчей должно было безмерно осчастливить меня.

– Будто с того света явился, – несмотря на радостный возглас Ванюшки, не видя ещё его, отозвался я. Что-то не то сказал. Ну не прижился мальчишка у Тамары – при чём здесь тот свет?.. Однако осмыслить толком свою нелепость я не успел.

– Из-под машины, Костентин Степаныч! – не задумываясь, жизнерадостно выпалил Ванька и осёкся. Как же так?! Он, Ванька Мокрый, никакой не трепач, лишнего не сболтнёт – и свою военную тайну за просто выдал. Для пацанов его авария – ржачка; прикол – для Бритвы; а Держа расстроится…

Всё, что навалилось в последнее время на подростка, окончательно сломило его. Да ещё это дикое признание... Он обессилено опустился на пол и, прислонившись к стене, сел, вытянув нищие ноги в разбитых студёных ботинках.

Жизнь непосильная сморила его. Спасительный тёплый сон пришёл к нему на помощь. На просветлевшем лице детском различил я едва заметную перистую тень – касание смертного крыла.

Словно дитя своё родимое, я бережно поднял на руки Ванюшку и перенёс осторожно на койку.

Сердце же Витьки, закоченевшее в ожидании *домашнего тепла*, согрел чаём с маслом и повидлом и уложил первышка рядом с дружком его по несчастью, прикрыв обоих своим холостяцким одеялком.